

Весь в глубоких снегах и под черным ледяным небом город на берегу Амура оцепенел от мороза и затишья. Казалось, никакой возможности для жизни не было в этом вселенском холоде, но под крышами домов она шла своим немудреным ходом, и от прочных каменных стен струилось слабое и непрестанное тепло.

Ах, какой мороз разразился в эту новогоднюю ночь, и голубые тени застыли в складках сугробов, и смерзшаяся бесконечность тайги окружила ничтожный кусочек света и тепла! И тишина безмолвствовала. И все не двигалось и как будто застыло в этих формах и линиях. И откуда-то из дальних сопок медленно приплыл в город тяжкий и тревожный гул. Прошел над городом, отзываясь слабым эхом в задребезжавших стеклах, и исчез.

— Тиха-а! — крикнул отец, весь напрягшись и глядя сузившимися глазами в черное окно.

Все умолкли. Летчики повернули лица к окну, зажав в больших ладонях стаканы со спиртом, и улыбки медленно сходили с их обветренных губ, и профили их тяжелели от возникшего предчувствия беды.

Кто-то из женщин прошептал: «О, господи!»

Отец, опрокинув стул, ринулся к телефону, а тот уже пронзительно трещал ему навстречу; и все летчики уже сгрудились у тумбочки и тянули круглые стриженные головы к мембране.

А в центре стоял отец, двумя руками вцепившись в трубку, и лицо его исказилось и постарело. Потом он закрыл лицо руками и сказал глухо:

— Валька Лыкашев разбился!..

Тина закричала, и я проснулся от ее невыносимого горестного крика... Равнодушное и жестокое время... Вот я уже забываю и с большим трудом могу только смутно представить себе сейчас, какие они были тогда, эти люди, окружавшие мое детство.

Осталась только сердечная память о них, а лица поразмыты временем, и лишь иногда отрывочные, как бы запечатленные на стоп-кадре их облики вдруг вспыхнут в сознании и потянут, потянут за собой томительную вереницу смутных воспоминаний...

В прошлом году в самом начале лета я был в Одессе. И в один из жарких дней июня валялся, разомлевший от одуряющего солнца и непрекращающегося шума прибоя, на одном из одесских пляжей.

Из моря, по колено в изумрудной воде, выходила девушка и, держась за локоть идущего рядом с ней парня, снимала с головы голубую купальную шапочку.

Она сняла ее и встряхнула головой, разметав черные, коротко стриженные волосы. Подняв лицо к парню, она что-то говорила ему, смеясь...

Вот и все. Только бывало ли у вас совершенно фантастическое ощущение мгновенного смещения времени, когда кажется, что все, что вы сейчас видите и чувствуете, происходит не сейчас, а много времени до этого? Все то же, все. Но только это когда-то было, давно, было так же ярко и отчетливо, напрочь забылось вами потом и вдруг зримо, до осязаемости, вспомнилось.

И вот это движение руки девушки, поднятой к голове, и поворот ее головы, и маленькая белая ладонь, лежащая на сильной смуглой руке парня, и застывший полет коротких черных волос — все это я уже видел.

Из волны Амура за много тысяч километров от этого моря, тридцать с лишним лет назад так же выходила нанайка Тина, держась за локоть Вальки Лыкашева, и так же было поднято к нему ее лицо, и она, так же смеясь, что-то говорила ему.

Наверное, это было мое первое открытие человеческой красоты, неосознанное, но почувствованное маленьким сердцем, потому что оно зашлось радостью предстоящего ему долгого бытия в мире этих удивительно красивых и сильных людей, дрогнуло от переизбытка благодарности, и я помчался по речному песку навстречу им, крича восторженно:

— Тетя Тина-а-а! Дядя Валя-а-а!

Лыкашев подхватил меня и поднял вверх, Тина ловила, хохоча, мои ноги, я визжал и брыкался, и мы все трое упали в воду, и брызги, сверкая на солнце, поднялись вверх. Летчики улыбались, глядя на нас, и, поводя сильными плечами, нежились на песке.

Мать с отцом плавали далеко в Амуре, и течение несло их на желтую узкую косу. На эту длинную полоску песка однажды, молча вывалившись из-за сопки и срезая кренящимися крыльями гребни амурских волн, рухнул большой самолет, пропахал глубокую борозду в мокром песке и задымился.

Оцепенев от суеверного ужаса, нанайцы видели, как из кабины самолета медленно выбрался человек, свалился на песок, встал и, шатаясь, закрыв лицо руками, побежал прочь; потом вернулся к самолету и исчез уже в густом черном дыму. И снова появился, волоча на спине другого человека. Они торопились, падал, вставал, вновь поднимал товарища и тащил его за собой.

Тина тоже видела все это из окна маленькой школы. Когда она бежала по берегу навстречу тем, двоим, самолет взорвался, окутавшись огнем и черным дымом, тугая волна бросила Тину на песок. Но она тут же вскочила и снова изо всех сил бежала к тем людям, упавшим с неба, потому что они больше не поднимались после взрыва.

Они лежали рядом, один из них медленными движениями рук оцупывал себя и улыбался, другой лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок.

Тот, что улыбался, говорил прерывистым шепотом:

— Валька, родной, друг ты мой, спасибо... вытащил... я тебя... по гроб... не забуду... а я уже думал: все... и плакал, когда мы падали... веришь... нет...

Он улыбался, глядя заплаканными глазами в небо:

— А теперь мы живы... слышишь... Валька... смотри... девушка... красивая какая...

Это был мой отец.

Тина встала на колени подле того, второго, что лежал лицом в песке, и с трудом перевернула его. Тина громко запричитала от страха и от невыносимой жалости к этому большому и такому беспомощному сейчас человеку. Она плакала и говорила по-нанайски слова, которые ее племя создало, чтобы выразить большое горе и великую жалость к чужому несчастью.

На поросшем сухой травой откосе, поодаль, неподвижно стояли старые нанайцы, зажав в зубах потухшие трубки. Их сморщенные плоские лица были обращены к сопкам, и в выцветших слезящихся глазах покоилась законченная, одним им понятная мудрость.

В поселке глухо застучал бубен. Это проснулся старый плешивый шаман. Он был добрый старик, сразу полюбил Вальку Лыкашева и с величайшим усердием выгонял духов из покалеченного тела своего молодого друга. Валька лежал на высоких подушках с забинтованной головой и толстой белой ногой, привязанной веревкой к низкому потолку и весело смеялся. И я тоже смеялся, мне не был страшен этот пыхтящий и бормочущий старик, который к тому же стал быстро уставать, охотно прекращал свои неуклюжие прыжки и смеялся вместе с нами. А еще он любил выпить. «Полечив» Вальку и отдышавшись, он сел на табурет возле большого и визгливым голосом начал петь на невообразимом русско-нанайском наречии. Старик был хитер и плел что-то о Тине, о том, что такую жену нигде не сыскать, как не найти ни одного молодого рыбака, не мечтавшего привести в дом такую девушку. Он хитро подмигивал мне, я, ничего не понимая, смеялся; а Тина краснела, но преданно смотрела на Вальку и все ходила и ходила вокруг него, поправляя то подушку, то одеяло. Кончались эти песни тем, что Валька давал старику денег, и через некоторое время тот появлялся уже с бутылкой. Выпив и закусив вареной горбушей, старик совсем размякал от избытка добрых чувств и только смотрел на Вальку и говорил, что врачи правильно сделали, оставив летчика здесь, в этой избушке, что они с Тиной быстро поставят его

на ноги, что хорошо ему сейчас на душе, есть кому отдать оставшиеся в сердце запасы любви, что какой хороший Валька: разрешает ему иногда пошаманить. Ведь никому вреда нет от этого, а он больше ничего делать не может... И умолкал, глядя перед собой.

Такая бесконечная печаль стояла в глазах этого вечного нанайца, великий Амур шумел за окном, сильный ветер гнул огромную тайгу, и я затихал совсем, прижавшись к потрескивающей печурке. Валька спал, у ног его сидела Тина, улыбаясь чему-то своему, медленно расчесывая коротко стриженные черные волосы. Чего-то ждала она в жизни, и это было связано с молодым и сильным летчиком, упавшим к ней с неба, и тысячелетняя кровь предков разрывала ее робкое сердце непонятной тоской и волнением. Так молодая птица кричит, в первый раз пускаясь в дальний полет...

Уже много лет спустя, вспоминая Вальку Лыкашева и Тину, седой отец мой говорил всегда о необычайной силе этой любви, коротко вспыхнувшей в дальней суровой тайге, в ледяных сумерках великой войны. Лицо его всегда в эти минуты разглаживала торжественная грустная улыбка, а мать моя молчала и опускала глаза или находила какое-нибудь дело, чтобы оставить своего мужа одного.

А отец говорил мне, подростку, только начинающему ощущать смутное волнение перед образом женщины, и юноше, уже бегущему на свидания к девушкам, и уже взрослому женатому мужчине, — он говорил о великой ценности этого дара природы...

Свадьба была в августе сорок второго, когда Амур разлился. Летчики собирались у нас и долго о чем-то шептались. Отец знал, что ему влетит за это от начальства, но согласился.

До поселка, где жила Тина, недалеко. Минут десять лета. Свадьба была в доме невесты. В два часа все были в сборе, стол был накрыт, мать с женщинами делали последние дела на кухне, а двое летчиков прибывали над крыльцом дома скрещенные крест-накрест рыбацкое весло и пропеллер.

Раскосые мальчишки и девчонки, ученики Тины, выстроились попарно, в галстуках, с горнистом и барабанщиком впереди. На откосе изваяниями застыли с неизменными трубками в зубах старые нанайцы.

Отец вместе с председателем рыболовецкого колхоза стоял в центре всего этого живописного построения.

Амур был необычайно тих и спокоен и ярко блестел под солнцем, а оно уже нависло над дальними сопками, замкнувшими горизонт, и било всем прямо в глаза. И поэтому не сразу увидели, как возникли в небе, далеко развернувшись от солнца, спускаясь к Амуру, два маленьких гидроплана.

Но вот они уже стали видны, вот они уже неслись крыло о крыло над молчаливой рекой и вдруг коснулись маленькими лыжами воды и, яростно взревя моторами, скрылись в туче ослепительных брызг. Потом, тихо и торжественно покачиваясь на волнах, они встали у самого берега, рядом с домом Тины.

И все увидели, что в задней кабине первого самолета сидела невеста, а в задней кабине второго — жених. От самолетов до берега осталось метров тридцать воды, но уже спешили к ним две нанайские плоскодонки с двумя молодыми рыбаками на веслах.

И летчики, которые вели свадебные самолеты, бережно с рук на руки передали рыбакам молодых.

Потом Тина и Валька Лыкашев рука об руку шли по песчаному берегу к дому своего счастья. Сзади шли два русских летчика и два нанайца-рыбака.

Невеста была в ярко расшитом нанайском платье, жених в черном костюме и при галстукке. И такой маленькой и хрупкой казалась растерянная и бледная Тина рядом с огромным, счастливым и не скрывающим своего счастья, неудержимо улыбающимся Валькой.

Они подходили все ближе и ближе, под охрипшие звуки горна и стук барабана, и запел вдруг в руках старого шамана бубен, необычайно мелодично и торжествующе, а шаман стоял неподвижно, не сводя горящих глаз с молодых, и только старые сморщенные руки его делали что-то невообразимое с потрепанным бубном. Все сдвинулись со своих мест и образовали живой коридор и что-то говорили жениху и невесте, стараясь перекричать друг друга. Уже поднялись молодые на крыльцо и хотели переступить порог, как с откоса вдруг донесся пронзительный крик. Тина испуганно и резко обернулась. Какая-то старуха нанайка кричала, яростно жестикулируя. А остальные старики стояли так же неподвижно, с погасшими трубками во рту и смотрели, казалось, поверх голов волнующихся и радостных гостей.

Тина сбегала с крыльца, гости расступились, и Тина пошла к старикам. Их разделяла небольшая полоска высохшей травы, когда Тина остановилась напротив. Она стала так же резко и гортанно что-то кричать им, показывая на свое сердце, на толпу гостей у ее дома, на небо, на сопки, на большой город, дымящий трубами на горизонте. Старуха отвернулась. Остальные молчали. Тина вернулась к Вальке, взяла его под руку и так посмотрела ему в глаза и так улыбнулась ему, что летчики, заорав от восторга, подняли жениха и невесту на руки и внесли их в дом.

И началась свадьба. Она продолжалась всю ночь...

...Конец этой истории рассказывать невыносимо.

Помню залитое слезами бледное лицо отца и красный цвет материи, затянувшей гроб, где лежало то, что осталось от Вальки Лыкашева, и куда я так и не заглянул: боялся, был слишком мал для этого.

А Тину я просто страшился: так грозна она была в своем горе, маленькая и окаменевшая, она посылала, казалось, проклятие всему миру. Вокруг нее стояли огромные летчики и рыдали.

Тина сама дописала конец легенды о любви русского летчика и нанайской девушки. Когда, после похорон, ее ненадолго оставили одну, она пришла на берег Амура, прошла немного по его ледяному покрову вплоть до большой полыньи, выбитой рыбаками для своих рыбацких нужд, и вошла в нее. Потом над прорубью так же молча стояло ее племя с плоскими лицами и смотрело в сверкающую снегами даль, где видело то, что никто не мог увидеть. Только та старушка нанайка, которая хотела оставить Тину на пороге ее счастья, смотрела на черную воду Амура, плещущую у ее ног, и слезы текли по ее желтым и сморщенным щекам...